

Белые негры

Алексею Сверчкову

Улицей Фрунзе мимо Сбербанка
идёт негритянка
в туфлях из мёда, в брюках из спаржи,
в куртке из пепла.

В школьные годы друг мой Никита
клялся, что станет
взрослым и сразу же женится на чернокожей.
Ну, позвони я ему и скажи, что мечта его жизни
шьёт каблучками асфальт возле
Автовокзала.
Трое детей у него от добротной
и рыжеволосой.
Верил бы клятвам Никита — летел
за женою в Египет
лет девятнадцать тому...
Но работа, учёба...

Улицей Фрунзе мимо Сбербанка
идёт негритянка:
шея фламинго, тяжёлые губы...
Дальше — не помню.

В школьные годы инсмаутской расой
стали другие:
смуглые наркобарыги цыганских
посёлков,
их остроглазые дочери в грязных
халатах,
с перебинтованным телом и неразборчивой
речью.
Вот они, наши привычные
«белые негры»,
в жёлтых маршрутках передающие
мелочь,
в красных киосках меж банок бодяжного
сока
тщётно скрывавшие щупальца
или клешни.

Улицей Фрунзе мимо Сбербанка
идёт негритянка:
пахнет лимоном, солёною рыбой,
дымом и сексом.

Тут же трубу поднимает неистовый
Диззи Гиллеспи,
Вторит ему богоизбранный
Чарли Bird Паркер,
И разливается нега вокала
Эллы Фитцджеральд,
И добивает все гвозди
Телониус Монк.

Эти в наушниках. Выключу —
у подъезда
наши глазами едят:
никогда не услышишь
длинную добрую песню
вселенской тоски,
чтоб захотелось сказать:
«погоди, я — такой же...»

Улицей Фрунзе мимо Сбербанка
идёт негритянка —
мимо чумазных подделок блистающий
оригинал.

Т. К.

От секреции снов до секретных желёз
всё, что есть, превращается в дым,
в грязный воздух, пронзённый осколками слёз,
потому что кырдым-гыр-бырдым.

Потому что в ладонях свинцовый горох,
потому что Екатеринбург,
я от собственных лёгких сегодня оглох,
отключив этот грохот вокруг.

Мы на красный шагнём через Главный проспект,
искривлённый внутри янтаря,
отводя от лица западающий снег,
наизнанку себя отворя

на грядущий сквозняк, на внезапный разрыв,
то есть дальше планет и небес,
потому что навывкат, точнее навзрыд,
потому что вообще ни бельмес.

Жемчуг

Без бюстгальтера, без макияжа,
сняв дешёвые медь и латунь,
отражаешься в створках трельяжа,
оголив из-под майки июнь.

Мне с тобой говорить не комфортно,
я пытаюсь пристроить зрачки
на торшер, на обложку «Мир фото»,
на облезлой гардины крючки.

Проваливший аферу поделщик
(даже если и наоборот),
я смотрю: совершенно отдельно
от лица раскрывается рот.

Обвинений подкожных припадков,
затяжные обиды в цвету —
и три ракурса острых лопаток
умножают твою правоту.

Я — толстеющий, вечно колющий,
увлечённый бесплатным трудом, —
на тебя с наслаждением глечусь,
полая ушами при том,

потому что сквозь россыпь иллюзий
проступает, как сквозь трикотаж
на твоём перламутровом пузе,
благодарности высшей мандраж.

Пермская миссия

Рустаму Паймурзину

Господнего служения синоним —
под муторные ливни сентября
отец Роман играет Альбиниони
в подсобке кинозала для себя.

Его бросает в жар от каждой фразы,
хотя от мамы с детства помнит сам:
«Адажио» совсем и не Томазо
Джованни Альбиниони написал.
Из нотной папки выудив набросок,
профессор, изучавший Ренессанс,
сеньор Джадзотто звёзд архивных россыпь
расправил и вернул на небеса.

Я перед школой захожу погреться
в казённых комнат гулкий лабиринт
и напитать испуганное сердце
бесстрашием невидимой любви.

Пока никто не ходит между кресел,
пока не вспыхнул луч под потолком,
пока мотивы современных песен
не прокисают, словно молоко,
я затаился у железной двери,
подслушивая ветхий соль-минор —
ярчайшее свидетельство о вере,
наглядней и наивней, чем в кино.

Три письма

Из 70 в 16:

Я помню мир твоих простых предметов.
Цветные деревянные игрушки.
Дом из подушек. Кофр от баяна.
Мы жили по закону Архимеда,
который сформулировать по-русски
у нас не получалось постоянно,

поскольку ничего не вытеснялось,
в том доме для всего хватало места,
соседи за стеной крутили диски,
мы вешали на гвозди одеяло
и тени танцевали буги вместо
их голосов, поющих по-английски.

Я погружаюсь в память, словно в ванну,
и, прикрепив к вискам нейро-диоды,
записываю медоносный гул.
Я помню чашку каждую в серванте,
щавель из городского огорода
приправой к баклажанному рагу.

О как привычно пробегают пальцы
вдоль корешков родительского шкафа:
Джек Лондон, Честертон, Эмиль Золя.
Ещё не нарастил на сердце панцирь.
Ещё костяшки не содрал о кафель.
Сплошные солнце, ветер, тополя.

Из 33 в 16:

Возможно, ты сейчас сидишь на стуле.
В пустой квартире. На твоей кровати
спит женщина. Ей восемнадцать лет.
Ты ничего не знаешь о Катулле,

но этих первых отношений хватит
на весь дальнейший твой парад-алле.
Ну а пока ты в мартовском угаре
пытаешься романсы петь дискантом,
текстовку под аккорды раздробя.
Ты ей назавтра инструмент подаришь,
и никогда не станешь музыкантом,
и это будет вечно жечь тебя.

Впоследствии, совсем других кольцуя,
ты не насытишь крошечное эго,
своё лицо вжимая в свитера,
и не забудешь, как она танцует
под медленно вращающимся снегом
в ночной рубашке в шесть часов утра.

Из 16 всем:

Когда мне разонравится мотаться
меж поселений с рюкзаком спортивным,
на садины растрачивая йод,
надеюсь, среди сотен имитаций
найдётся и моя альтернатива,
где по-другому всё произойдёт.

Пускай я стану продавать кассеты,
работать по подложным документам,
скрываться от какой-нибудь братвы.
Зато там будут мостик над Исетью,
на небе красный лепесток кометы,
у Оперного каменные львы.